

## ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «РУССКИЙ РОМАН»

Публикуемый ниже текст — один из самых значительных литературных манифестов второй половины XIX века, сыгравший важную роль в истории европейской — и не только европейской — эстетической мысли, и вместе с тем — своеобразный гимн русской литературе этого времени, которой и была посвящена, в основном, книга, предварявшаяся или вернее открывавшаяся этим манифестом.

Не случайно книга эта называлась «Русский роман», и хотя в двух первых ее главах прослеживалась история русской литературы с древнейших времен, в центре внимания ее автора — Эжена Мельхиора де Вогюэ (Vogüé, 1848–1910) находилась русская реалистическая проза и прежде всего творчество четырех ее великих творцов — Гоголя, Тургенева, Достоевского и Льва Толстого<sup>1</sup>.

Ничто, казалось бы, не предвещало интереса виконта де Вогюэ к России и русской культуре. После завершения образования и кратковременного участия в военных действиях 1870 года он в течение пяти последующих лет состоял при своем дяде — маркизе де Вогюэ, французском посланнике в Константинополе, и собирался продолжить дипломатическую карьеру в Афинах, но затем отказался от этого намерения и принял решение отправиться в Россию. К такому решению он пришел после долгих раздумий и отчасти исходя из своего «турецкого опыта», о чем подробно рассказал позднее в письме к Илье Даниловичу Гальперину-Каминскому (1858–1936), литератору и переводчику русского происхождения, издавна обосновавшемуся в Париже, в ответ на просьбу сообщить ему сведения о своей литературной деятельности<sup>2</sup>.

«Шестнадцать лет тому назад, в октябре 1876 года, — писал Вогюэ, — я вернулся в Париж после долгого пребывания в Турции, при нашем посольстве. На Востоке я имел возможность изучить прочное и все возрастающее могущество России, а ее паломники, отправляющиеся в Палестину, и ее агенты, наводнявшие Турцию, показали мне некоторые черты национального характера. В это время сообщения А. Леруа-Больё привлекали внимание всех читателей “Revue des Deux Mondes”

<sup>1</sup> См.: Röhl M. «Le Roman russe» de Eugène-Melchior de Vogüé. Etude préliminaire // Acta Universitatis Stockolmiensis. Studies in History of Literature. № 16. Stockholm, 1976. См. также: Eugène-Melchior de Vogüé le héraut du roman russe. Textes réunis et présentés par Michel Cadot. Paris, 1889.

<sup>2</sup> Текст письма (или точнее — его перевод) цитируется по единственному доступному нам источнику: Гальперин-Каминский И. Д. Руссоведение во Франции // Русская мысль. 1894. № 9. Отд. 2. С. 37–39.

к пробуждению этой великой незнакомой страны<sup>3</sup>, и легко было предвидеть, что она займет одно из первых мест на европейской сцене. Кроме того, и это было главное, я пережил все те жалкие унижения, которые испытали все те, кто был представителем Франции за границей после 1870 года<sup>4</sup> — унижения, прикрытые на Западе дипломатической вежливостью и резче ощущаемые на Востоке, где с каждым человеком обращаются совершенно открыто, сообразно предполагаемой в нем силе. Чтобы прекратить эти унижения, нужна была поддержка, и достаточно было бросить взгляд на карту и задать себе вопрос о ближайшем будущем, чтобы увидеть, где следует искать этой поддержки.

Герцог Деказ<sup>5</sup> был согласен с этими взглядами. Я отправился к нему, выразив мое удивление по поводу того, что ни один дипломатический агент не владеет русским языком, и заявил ему о своем желании отправиться изучать его в Петербург, где в это время открылась ваканция на соответствующий моей должности пост. Министр тотчас же исполнил мое желание. <...> Когда я овладел языком настолько, чтобы читать газеты, я начал правильно доставлять известия и составлять обобщающие доклады для своих начальников по службе. Счастливые писания, никогда не доставлявшие мне неприятностей! Они лежат, не тронутые, в картонных Орсейской набережной<sup>6</sup>. <...> Впоследствии, освоившись с русским литературным языком, я познакомился с великими русскими писателями последней четверти нашего века. Но если я имел возможность уловить некоторые скрытые черты их гения, если усердное посещение авторов помогло мне к уразумению их произведений, — я обязан этим, главным образом, одной редкой личности, умершей несколько месяцев тому назад: графине Толстой, вдове чуткого, тонкого поэта Алексея Константиновича<sup>7</sup>. Около их очага грелась вся видная часть русской интеллигенции.

Не думаю, чтобы иностранец, уроженец Запада, мог когда-нибудь разобраться в запутанных мыслях и в думах Достоевского или Аксакова, если бы произведения этих туманных гениев не очищались для него, проходя сквозь ту бриллиантовую призму, которую представлял собой ум этой необыкновенной, универсальной женщины. Она-то и внушила мне мысль дать французской публике возможность оценить эти далекие

<sup>3</sup> Серия статей о России и русских Анатоля Леруа-Болье (Leroy-Beaulieu, 1842–1912) увидела свет на страницах «Revue des Deux Mondes» в 1873–1877 гг.

<sup>4</sup> Речь идет о франко-прусской войне 1870 г., окончившейся катастрофическим поражением Франции и падением Второй империи.

<sup>5</sup> Герцог Луи-Эли Деказ (Decazes, 1819–1886) был министром иностранных дел Франции в 1873–1877 гг.

<sup>6</sup> На набережной Орсэ в Париже находилось и находится поныне здание Министерства иностранных дел.

<sup>7</sup> Гр. Софья Андреевна Толстая (1824–1892), вдова гр. А. К. Толстого, среди посетителей петербургского салона которой были И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, Вл. С. Соловьев и др.

чужестранные произведения. Вместе с тем, она старалась побороть мои опасения. Сначала я оттолкнул эту мысль как безрассудную химеру, потому что, если я и знал несколько Россию, я очень плохо знал в то время свою страну — ту новую Францию, которая зародилась во время моего двенадцатилетнего отсутствия. Мало-помалу я приобрел большую решимость для исполнения дела, успех которого казался мне неизбежным предшественником какой бы то ни было политической попытки».

Таким образом, в Петербурге Вогюэ оказался отнюдь не случайно и всю свою разностороннюю деятельность там всецело подчинил реализации столь волновавшей его идеи сближения Франции и России — в качестве третьего, а затем второго секретаря французского посольства и, быть может, в еще большей степени — в качестве литератора: с марта 1879 года он начал публиковать в «*Revue des Deux Mondes*» свои статьи о русских писателях, а позднее, уже после возвращения на родину и выхода в отставку, объединил их в книгу, которая и явилась главным интеллектуальным итогом его почти шестилетнего пребывания в России<sup>8</sup>. Книга эта, озаглавленная «*Le Roman russe*», увидела свет 7 июня 1886 года в парижском издательстве Плон (Librairie Plon — E. Plon, Nourrit et C<sup>ie</sup>) и вскоре принесла Вогюэ широкую известность; нет сомнений в том, что именно ей он был обязан избранием во Французскую Академию: произошло это 22 ноября 1888 года, когда новому академику едва минуло сорок лет.

Конечно, у Вогюэ — автора «Русского романа» имелось во Франции немало предшественников. Однако никому до него не было дано превратить это новое осмысление русской литературы в поворотное событие современной духовной жизни. Отныне почти безраздельно господствовавшему во французской, да и во многих других литературах натурализму стал все чаще и энергичнее противопоставляться русский «реалистический идеализм».

С появлением книги Вогюэ, выдержавшей множество изданий и затем дважды переведенной на английский язык, русская реалистическая литература начала свое триумфальное шествие по странам и континентам. Рассматривая сквозь призму французского писателя творения великих русских романистов, читающий мир с восхищением и немалым удивлением открывал для себя то особенное и неповторимое, что в них заключалось. Более того, получившее свое ярчайшее выражение в этих произведениях своеобразие русского национального характера и мироощущения стало обозначаться удачно найденной им и прочно вошедшей затем в международный культурный обиход формулой «русская душа» («*âme russe*» или почти синонимичное «*âme slave*»).

<sup>8</sup> Основным источником сведений о жизни Вогюэ в России является его дневник, который он вел с 31 декабря 1876-го по 14 января 1883 г.: *Vogüé E.-M. Journal. Paris — Saint-Pétersbourg. 1877–1883. Paris, 1932.* Дневник этот, в частности, дает основание предполагать, что немалую роль в освоении им русской литературы сыграли его русская жена — Александра Николаевна Анненкова (1848–1914) и ее семья.

Шли годы, Вогюэ неустанно трудился, публикуя романы, очерки и статьи на самые разные темы, в течение четырех лет представлял свой департамент в Палате депутатов. Но его связь с Россией при этом не ослабевала: время от времени он совершал поездки туда (например, по случаю открытия в Москве в 1909 году памятника Гоголю), переписывался с коллегами и обменивался с ними книгами, поддерживал отношения с родными и друзьями, а главное — внимательно следил за тем, что происходило в русской литературе, и знакомил соотечественников с новыми для них писательскими именами, такими как Некрасов и Тютчев, Максим Горький, Чехов и Леонид Андреев.

Естественно, что вклад Вогюэ в распространение на Западе русской литературы был отмечен в качестве основной его заслуги во всех некрологах писателя, скоропостижно скончавшегося 11 марта 1910 года.

«С какой бы точки зрения мы его ни изучали, “Русский роман”, — писал в своей обширной и содержательной статье французский историк литературы и критик Виктор Жиро (Giraud), — остается прекрасной книгой, великой книгой. По прошествии четверти века мы можем сегодня утверждать: это одна из самых значительных книг конца XIX столетия»<sup>9</sup>.

Извещая на страницах «Журнала Министерства народного просвещения» своих читателей о смерти Вогюэ, видный французский славист Луи Леже в очередном «Письме из Парижа» отмечал, что его знаменитая книга «имела большой успех и сыграла в нашей литературе такую же роль, как книга мадам де Сталь о Германии в начале XIX века»<sup>10</sup>.

«В то время, когда на Западе царили еще смутные представления о России и особенно о русской литературе, — утверждал критик «Вестника Европы» С. Адрианов, — Вогюэ выступил талантливым и энергичным пропагандистом новых русских писателей среди своих соотечественников. Он первый раскрыл перед французской публикой неведомый ей дотоле, богатый мир русского художественного творчества и заставил ее вникнуть в идеи наших корифеев, более всего — Толстого и Достоевского. Со времени появления статей Вогюэ в “Revue des Deux Mondes”, а затем и капитальной его книги “Le Roman russe” (1886 г.) русская литература постепенно завоевывает внимание всего Запада, входит в международный художественный оборот, начинает оказывать влияние на европейских писателей. Мы должны ясно себе представить всю важность этого факта. Великая национальная литература немислима вне международного общения. Мы многим обязаны Европе, теперь и она нам уже кое-чем обязана в области искусства»<sup>11</sup>.

Анонимный автор некролога, помещенного в «Вестнике иностранной литературы», констатировал: «Своими статьями о русской литературе Вогюэ заставил французов взглянуть другими глазами на Россию и русских. <...> Познакомившись с нашей литературой, французы

<sup>9</sup> Revue des Deux Mondes. 1910. Т. 57. Р. 296–297.

<sup>10</sup> Журнал Министерства народного просвещения. 1910. Ч. 288. № 8. С. 93–94.

<sup>11</sup> Вестник Европы. 1910. Кн. 4. С. 392–393.

проявили интерес к нашему искусству. В особенный восторг пришли они от нашего театра. Конечно, в этой области у нас есть, что показать; но если бы Вогюэ не заинтересовал Европу литературой, мы не могли бы познакомить ее и с театром»<sup>12</sup>.

Наконец, в «Историческом вестнике» говорилось: «До него французские критики очень мало были знакомы с русской литературой, <...> и только Вогюэ положил начало этому ознакомлению. Вогюэ постарался объяснить французам не только Гоголя и Тургенева, но предоставил в своей критике такое видное место Толстому и Достоевскому, на котором первый предстал во всем своем могучем росте, а второй явился мастером в психологической литературе. Никогда еще ни одна критика не была в таком ходу, как этот труд Вогюэ <...>. Душа Вогюэ был родственна русской душе, и в сочинении о русском романе он так живо выразил свои впечатления, что захватил других»<sup>13</sup>.

С тех пор число этих «других» неуклонно возрастало — во Франции и далеко за ее пределами, самая же книга, некогда давшая столь мощный импульс этому процессу, обычно лишь упоминалась и иногда более или менее подробно характеризовалась, но круг ее непосредственных читателей был весьма невелик. Именно так, в частности, обстояло дело в России, где труд Вогюэ получил известность с давних пор и в дальнейшем никогда не забывался<sup>14</sup>, но издан был лишь частично, в виде отдельных очерков о русских писателях; самый же важный его раздел — «Предисловие» — не появлялся на русском языке вообще, что и делает данную его публикацию, на наш взгляд, вполне оправданной и целесообразной.

П. Заборов

<sup>12</sup> Вестник иностранной литературы. 1910. Апрель. С. 286.

<sup>13</sup> Исторический вестник. 1910. Т. 120. Июнь. С. 1088–1089.

<sup>14</sup> См., например: *Пыпин А.* Русский роман за границей // Вестник Европы. 1886. Т. 5. № 9. С. 301–344; *Венгерова З.* Русский роман во Франции // Там же. 1899. Т. 1. № 2. С. 719–728; *Берков П.* Изучение русской литературы во Франции: Библиографические материалы // Лит. наследство. Т. 33–34. М., 1939. С. 745–746; *Мотылева Т. Л.* О мировом значении Л. Н. Толстого. М., 1957. С. 368–369; *Шишмарев В. Ф.* Русская литература во Франции // Рукописное наследие В. Ф. Шишмарева. М.; Л. 1965. С. 172–174; *Алексеев М. П.* Русская классическая литература и ее мировое значение // Русская литература. 1976. № 1. С. 6–20; *Григорьев А. Л.* Русская литература в зарубежном литературоведении. Л., 1977. С. 42–46; *Фридендер Г. М.* Достоевский и мировая литература. М., 1979. С. 345–346; *Дранкова И. Г.* Гоголь и Вогюэ // Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли. Саратов, 1984. С. 44–51; и др.

## РУССКИЙ РОМАН

### Предисловие

Предлагая эту книгу вниманию лиц, интересующихся русской литературой, число которых растет день ото дня, я должен сделать для них несколько пояснений относительно предмета и цели этих очерков, а также имеющих в них пробелов, оставленных вполне сознательно. Страна, в которую нам предстоит совершить путешествие, обширна и мало изучена; целиком ее никто не исследовал — лишь проторили наугад несколько тропинок; и мне хотелось бы объяснить тем, кто собирается ступить на них, почему мы отправимся в ту или иную область, оставив другую без внимания.

В этой книге вы не найдете собственно истории литературы — всесторонне освещающей тему. Такого труда еще не существует в России, он был бы преждевременен и во Франции. Сам я испытывал подобное искушение и попытал бы счастья на этом поприще, если бы искал лишь одобрения ученого мира. Но цели мои — иные. В силу соображений литературного свойства (о них я скажу позднее) и мотивов иного порядка, о которых я умолчу, поскольку каждый может сам о них догадаться, я считаю, что нам всем необходимо трудиться на благо сближения этих стран путем духовного взаимопроникновения. Ибо тесная дружба и солидарность между двумя народами, как и между двумя людьми, возможны лишь при их интеллектуальном контакте.

Стремясь к этой цели, следует, однако, действовать осторожно, учитывая косность публики: невозможно пробудить у кого-либо аппетит, подсунув ему сразу нечто неудобоваримое. Публика желает, чтобы ее приручали постепенно, заманивая в ловушку удовольствия и побуждая к приобретению новых знаний, чтобы это удовольствие сильнее ощутить. Так давайте же учитывать эти настроения публики: стараясь ее убедить, мы не переделали бы ее, но при этом оставили бы нерешенными высшие задачи, на которые я намекал. Справедливости ради отметим, что история русской литературы только за последний век должна была бы быть представлена длинным списком чуждых нашему слуху имен и никогда не переводившихся произведений; параллельно следовало бы написать политическую и социальную историю трех последних царствований, которая существует не в большей степени, чем первая, и которая единственно могла бы пролить на нее свет. За неимени-

ем этого подготовительного материала, произнесение незнакомых звуков было бы напрасным сотрясением воздуха, не оставляющим в умах западных читателей ни малейшего следа, а самый перечень уподобился бы картам ночного неба или каталогам невидимых глазу звезд, составленным астрономами для нескольких посвященных.

Мне показалось предпочтительным действовать иначе, по примеру натуралиста, желающего рассказать нам о новых краях. Этот натуралист никоим образом не останавливается в промежуточных, невыразительных местах, а двигается прямо в сердце страны, в области, отмеченные яркими особенностями. Там, выбирая среди многочисленных образчиков флоры и фауны, он отметит сначала для памяти виды, общие для всех частей света, оказавшиеся там случайно или по чьей-то воле; затем быстро перейдет к выродившимся или ископаемым разновидностям, представляющим лишь исторический интерес; однако особое внимание он уделит местным семействам, жизнестойким, характерным для данной местности и климата; из них он выберет несколько типичных образцов, отличающихся особым совершенством. Именно эти объекты он и предложит нашему вниманию как наиболее способные показать современные условия и особенности жизни этого уголка планеты.

Мой замысел очень похож. Я кратко напомним об истоках русской литературы, о ее долгом прозябании под иностранным господством, о ее раскрепощении в течение нашего века. С этого момента скромная горстка русских писателей превращается в мощную толпу; ее разнообразие приводит нас в замешательство, как прежде приводила в замешательство ее скудость. Я остановлюсь на нескольких крупных фигурах, определяющих лицо этой незнакомой нам толпы. Такая методика тем более правомерна для России, что среди этих молодых, едва обработанных масс, развивающихся в одном направлении, индивидуальные различия остаются все еще слабо выраженными. Побывайте в сотне деревень между Петербургом и Москвой: люди, которых вы там встретите, словно сработаны по единому образцу: черты лица, повадки, одежда — всё. Как и в большинстве сверхновых цивилизаций, личный порыв еще не освободил их от коллективных уз; несколько выбранных наугад лиц легко составят общий портрет всех этих братьев-близнецов. То же можно сказать и об их духовной сущности: по душе одного из них можно судить о гораздо большем количестве душ, чем у нас. И желая приумножить подобные наблюдения, мы добьемся лишь впечатления монотонности.

Эта первая серия исследований посвящена в основном четырем выдающимся современным романистам, уже привлечшим внимание европейского читателя благодаря частичным переводам их произведений. Писатели эти, весьма характерные для русской

литературы, являют собой уменьшенную модель, полную и яркую, национального гения, который мы и стремимся выявить. Говоря о каждом из них, я попытался обрисовать как их творчество, так и человеческую сущность, которые в равной степени являются отображением общества. Вопросы искусства интересны и значительны сами по себе; однако гораздо больше интереса и значительности заключает в себе тайна, в которую они помогают мне проникнуть, тайна этого загадочного существа — России. Не особенно заботясь о соблюдении правил композиции, я собирал все, что могло послужить осуществлению моего намерения: биографические подробности, личные воспоминания, отступления на исторические и политические темы, без которых духовное развитие столь закрытой страны было бы совершенно неясным. Осветить исследуемый объект любыми средствами, сделать его понятным, затронуть все его грани — вот, наверное, единственное правило, которым следовало руководствоваться.

С этой целью я принялся сравнивать вдоль и поперек русских писателей с писателями более знакомых нам стран, и вовсе не из тщеславного желания покрасоваться своей эрудицией; к тому же, мне известна опасность подобных аналогий: они всегда хромают. Но есть лишь один быстрый и надежный способ объяснить неизвестное: сравнение с уже знакомым. Вместо долгих, заумных объяснений той или иной личности или произведения, достаточно назвать одно знакомое имя, которое немедленно вызовет в памяти каждого целый литературный портрет, близкий тому, который мы изучаем. Такое сравнение проясняет текст и позволяет с первого взгляда классифицировать новые явления по семьям и по значению. А затем делаются необходимые оговорки для установления различий между тем, что на короткое время сближалось.

Некоторые удивятся, что я ищу ответа на русскую загадку у русских романистов. По причинам, которые будут изложены ниже, философия, история, красноречие — церковное и судейское (о парламентском я даже не говорю) — суть жанры, почти напрочь отсутствующие в этой молодой литературе. То, что можно найти под этими произвольными обозначениями в других странах, в России умещается в широких рамках поэзии и романа — форм выражения, свойственных русской мысли, единственно совместимых с требованиями некогда безжалостной цензуры, которая и поныне остается очень бдительной. Высказывать идеи там можно, лишь ловко вплетая их в полотно вымысла; так они проходят все, без исключения, а скрывающий их вымысел приобретает значимость научного трактата.

Находясь под доминирующим воздействием великого имени Пушкина, периодом своей наивысшей интеллектуальной славы

русские считают романтизм. Когда-то я думал так же, как и они, направляя свои усилия на изучение именно поэзии. Однако позже я изменил свое мнение — по двум причинам. С одной стороны, рассуждать о произведениях, из которых невозможно привести ни одного примера, — слишком безумная затея; это все равно что пытаться удержать облака, проплывающие по иному небу. Русские поэты никогда не были и не будут переведены. Лирическое стихотворение — это живое существо, живущее своей сокровенной жизнью, смысл которой заключается в особом расположении слов; невозможно перенести эту жизнь в чужое тело. Мне довелось однажды читать русский перевод «Ночей» Мюссе, перевод очень точный и весьма недурной; и это произведение доставило мне столько же удовольствия, сколько может доставить созерцание трупа красивого человека; душа покинула его, а вместе с ней и особый аромат, составляющий всю ценность этих божественных звуков. Решение такой задачи становится еще более невозможным, когда речь идет о переводе с самого поэтичного из европейских языков на другой, таковым далеко не являющийся. Некоторые стихи Пушкина и Лермонтова — одни из самых прекрасных, что я знаю. Однако при переводе от них остается лишь горстка банальных мыслей, облеченных в бледные лохмотья прозы, прикрывающие их обломки. Попытки эти предпринимались и будут предприниматься еще и еще, но результат не стоит затраченных усилий.

С другой стороны, я не думаю, что романтическая поэзия есть наиболее оригинальное проявление русского духа. Помещая ее на первом плане в своих трудах по истории литературы, русские критики испытывают на себе очарование прошлого и находятся под воздействием юношеской восторженности. Время искажает истинные размеры вещей в ущерб настоящему, делая то, что оно с собой уносит, достойным почитания. И, может быть, иностранцу легче предвидеть суждения будущих времен: расстояние заменяет ему годы, позволяя смотреть с отдаления, которое уравнивает все сопоставляемые объекты.

Подводя литературные итоги века, я считаю, что великие романисты четырех последних десятилетий послужат России лучше, чем ее поэты. С ними она впервые опередила Запад, за которым прежде лишь следовала, обрела наконец присущие ей одной эстетику и оттенки мышления. Вот что привело меня к решению искать разрозненные черты русского гения прежде всего в романе.

Десять лет усердного знакомства с творениями этого гения навели меня на некоторые размышления о его особенностях, о той роли, которую ему надлежит отвести в нынешнем напряжении человеческого разума. Лишь роман способен поставить все вопросы, касающиеся жизни нации, а потому не стоит удивляться тому, что в

своем исследовании я буду обращаться к художественным произведениям, затрагивая серьезные проблемы и увязывая вместе некие общие идеи. Мы увидим, как русские защищают дело реализма, оперируя новыми доводами, лучшими, на мой взгляд, чем те, которые используют их западные соперники. Это — великий процесс; он лежит в основе всех литературных споров, ведущихся в настоящее время в цивилизованном мире, и на примере литературы показывает главные черты мировоззрения наших современников. Прежде чем начать представлять русских писателей как важнейшую часть этого процесса, я хотел бы в простой и свободной форме изложить суть дискуссии.

## I

Классическая литература рассматривала человека в наивысшие моменты проявления его сущности, в порывах страсти, в качестве главного действующего лица благородной и простой драмы; в этой драме актеры делили между собой роли добродетельных персонажей или злодеев, роли, где они были счастливы или страдали, в соответствии с идеальными, абсолютными представлениями о жизни более высокой, где вся энергия души должна быть направлена к единой цели. Одним словом, человек в эпоху классицизма был *героем*, и только его литература того времени считала достойным своего внимания. Действия этого героя соответствовали определенному набору религиозных, монархических, социальных и нравственных идей, являющих собой некую основу, на которую род людской опирался со времен своего становления. Возвеличивая своего героя в положительном или отрицательном смысле, поэт-классик предлагал скорее пример того, каким должен или не должен быть человек, нежели отображал то, что существовало в действительности.

Незаметно, за последние сто лет стали преобладать иные взгляды. Это привело к появлению искусства, построенного скорее на наблюдении, чем на воображении; искусства, которое льстит себя надеждой, что видит жизнь такой, какая она есть, во всей ее сложности и с наименьшей предвзятостью со стороны художника. Это искусство рассматривает человека в заурядных условиях, характеры — обычные и изменчивые — в повседневности. Стремясь к строгому соблюдению научного подхода, писатель ставит себе целью не развлекать нас, не волновать интригой и страстями, а просвещать относительно чувств и поступков героев, постоянно анализируя их. Классическое искусство подражало монарху, который правит, карает, вознаграждает, избирает фаворитов среди аристократической элиты, предписывая им правила элегантности, нравственности и красноречия. Новое же искусство стремится подра-

жать природе с ее неосознанностью, нравственным безразличием, отсутствием выбора. Оно выражает торжество коллективного над индивидуальным, толпы над героем, относительного над абсолютным. Его называли реалистическим, натуралистическим, но, может быть, достаточно было назвать его демократическим?

Нет, рассматривать лишь этот, очевидный корень нашей литературы было бы слишком мало. Смена политического режима — лишь эпизод в цепи свершившихся величайших, всеобъемлющих перемен. Взгляните, что произошло за последний век с человеческим разумом во всех его проявлениях. Это можно было бы сравнить с гигантской пирамидой, установленной вершиной вниз, которую целый легион рабочих с огромным трудом перевернул и поставил на основание. Человек наконец-то получил объяснение устройства вселенной; он увидел, что все существование, размеры и беды этой вселенной суть результат неустанной работы бесконечно малых величин. В то время как общественные институты передавали управление государствами в руки большинства, наука отводила управление миром атомам. Повсюду, при анализе как физических, так и нравственных явлений, прежние доводы дробились на более мелкие; на смену грубым силам, действовавшим мощными толчками, которыми в свое время объяснялись революционные изменения, происходившие в мире, в истории и в душах людей, пришла постоянная эволюция ничтожно малых, непонятных существ.

А дальше — как наклонная плоскость: стоило современному разуму немного поколебаться, как он сразу устремился вниз. Он хочет знать происхождение мироздания? Для него это уже не шедевр, целиком сотворенный в шесть дней по внезапной прихоти Создателя. Сгусток пара, капли воды, молекулы, скопившиеся в течение мириадов веков, — вот скромное начало планет; что же до начала жизни — то это всего лишь легкое дыхание существ без названия, кишящих в луже грязи. Он желает объяснить череду перемен, преобразивших земной шар? Извержения вулканов, потопа, мировые катаклизмы отступают на задний план, пропуская вперед действие безымянных и невидимых глазу созданий: песчинка, перекатывающаяся в ручье в течение бесчисленного количества дней, коралловый риф, превращающийся в материк благодаря неустанной работе микроскопических организмов — терпеливого народца, трудящегося в океанских глубинах. Если мы обратимся к нашему собственному устройству, то и его слава значительно поубавилась: весь этот чудесный набор деталей — всего лишь цепочка клеток; сегодня — человек, завтра — былинка в поле или червь. Все, включая эту щепотку серого вещества, в которой я черпаю в данный момент свои мысли об устройстве мира. Задавшись вопросом о причинах разрушения этого механизма, медицинская наука, как и осталь-

ные, нашла универсальный ответ; отныне нас губят не собственные страсти и настроения; нет, нас подтачивают изнутри мелкие твари, жизнь и смерть отданы теперь на откуп невидимым представителям животного мира. И открытие это столь важно, что поневоле задумаешься, не случится ли так, что в будущем, вместо того чтобы присвоить нашему веку имя какого-нибудь редкостного гения, его назовут веком микробов; ни одно другое слово не смогло бы лучше обрисовать наше лицо и смысл нашего пути сквозь поколения.

Гуманитарные науки подчиняются импульсу, заданному науками естественными. История внимает показаниям народов, оттеснив на второй план единственных свидетелей, которых выслушивала прежде: королей, министров, военачальников; обходя свои кладбища, она теперь с меньшей охотой останавливается перед пышными надгробиями, углубляясь в ряды забытых могил и прислушиваясь к их неясному шепоту. Для освещения хода событий она более не довольствуется несколькими главными фигурами; дух целых рас, тайные страсти и терзания, вереницы мелких фактов — вот материал, с помощью которого она воссоздает прошлое. Тем же занят и психолог, изучающий тайны души; человеческая личность представляется ему производным длинной череды наслоившихся одно на другое ощущений и действий, чутким, переменчивым инструментом, находящимся под постоянным влиянием окружающей среды.

Стоит ли продолжать, рассуждая о проявлении этих же тенденций в практической жизни? Уравнивание классов, дробление состояний, всеобщее избирательное право, равные свободы и обязанности перед судом, налоговыми органами, в казарме и в школе, все последствия, вытекающие из этого принципа, могут быть объединены в одно слово «демократия», ставшее приметой нашего времени. Еще шестьдесят лет назад говорили, что демократия течет бурным потоком; сегодня эта река превратилась в море, затопившее всю Европу. Тут и там торчат из него отдельные нетронутые островки, на которых виднеются еще троны, обломки феодальных установлений, остатки привилегированных сословий; но самые прозорливые из этих сословий и на этих тронах знают, что уровень моря поднимается. Единственная их надежда (и никто не запрещает им эту надежду питать) в том, что демократическое устройство общества может быть вполне совместимо с монархической формой власти. Пример тому мы находим в России, где под сенью абсолютной монархии успешно произрастает патриархальная демократия.

Не довольствуясь обновлением политического строя государств, неутомимый дух времени преобразует и все функции их организма: в большинстве предприятий заменяет индивидуальный принцип управления на коллективный; перераспределяет общественное достояние, умножая количество кредитных организаций и рент

и делая таким образом каждый кошелек причастным к общим богатствам; меняет условия промышленного производства, подчиняя их требованиям большинства. Я не претендую здесь на исчерпывающее количество примеров; можно бесконечно долго проверять действие этого непреложного закона в применении к земным недрам, человеческому организму или глубинам человеческой души, в лаборатории ученого или в кабинете администратора; везде он опрокидывает старые принципы знания и действия, приводя нас к констатации одного и того же факта: мироустройство отдано отныне на откуп бесконечно малым величинам.

Литература, эта исповедь общества, не могла оставаться чуждой этим всеобщим переменам; сначала инстинктивно, потом осознанно она стала приводить свои методы и идеалы в соответствие с новыми веяниями. Первые попытки такой перестройки были неуверенны и неуклюжи: сегодня мы вполне можем признать, что романтизм не был доброкачественным продуктом. Он был пропитан мятежным духом — неудачное состояние для того, кто хочет быть невозмутимым и могучим, как сама природа. Протестуя против классических героев, он искал своих персонажей на дне общества; но, сам того не ведая, он был еще насквозь проникнут духом классицизма, а потому придуманные им чудовища быстро становились героями наоборот: его каторжники, куртизанки, попрошайки-нищие оказались более надуманны и поверхностны, чем короли и принцессы былых времен. Изменилась тема, но напыщенность и высокопарность остались прежними. И это быстро наскучило. От писателей стали требовать более правдивого изображения мира, в большей мере соответствующего набравшим силу позитивистским воззрениям. В их произведениях читатель желал почувствовать всю сложность жизни, человеческих отношений, мыслей, а также найти в них эту идею всеобщей относительности, что пришла в наше время на смену абсолюту. Тогда-то и появился на свет реализм, завладевший литературой во всех европейских странах, он и по сей час продолжает безраздельно царствовать там, отличаясь лишь в оттенках, чьим сравнением мы и займемся. Его литературная программа была начертана всеобщей революцией, отдельные последствия которой я только что обрисовал. Но лишь понимание причин, эту революцию породивших, могло дать ему какую-то философскую программу.

Каковы же были эти причины? Во Франции с восхитительным самодовольством вообразили, будто великими духовными переменами человечество обязано кружку философов, написавших «Энциклопедию», кучке недовольных, разрушивших Бастилию, и все в таком духе. Считалось, что это чудо свершил один освобожденный разум, сместивший ось Вселенной. Человек того века проявил

вполне простительную самоуверенность. Ценой поразительного двойного усилия он постиг бóльшую часть загадок природы, благодаря собственной воле освободился от бóльшей части социальных ограничений, тяготевших над его предшественниками. Отныне ему открылось интеллектуальное устройство мира; он расчленил его, обнажив его первичные элементы и исходные законы. И тут же провозгласив себя свободным от собственной личности, человек возомнил, что ему предназначено все знать и все мочь. Небольшую область, над которой он был властен, окружали некогда необъятные, таинственные просторы, одновременно смущавшие ум несчастного невежды и заключающие в себе его надежды и чаяния. Отступив вдаль, уменьшившись в размерах, эта зона усеянной звездами тьмы, казалось, исчезла совсем. Было решено не брать ее в расчет. Из объяснений мироустройства и жизни были вообще изъяты все прежние идеи, населявшие эту сферу, — то есть все божественное. Вновь приобретенные научные истины часто оказывались несовместимыми с грубым антропоморфизмом наших предков, с их представлениями о сотворении мира, об истории, о взаимоотношениях человека и Божества. А религиозное чувство казалось неотделимым от временных толкований, с ним отождествлявшихся. Впрочем, к чему искать какие-то сомнительные первопричины, когда устройство вселенной и человека стало столь понятным для физиков и физиологов? К чему какой-то вседержитель там, наверху, когда и здесь, внизу, больше не признается ничья власть? Бесполезность оказалась наименьшей из ошибок, вменявшихся в вину Богу. Великие умы быстро убедили в этом своих посредственных современников. Восемнадцатый век установил культ разума, и какое-то время человечество пребывало в опьянении этим золотым веком.

А затем пришло вечное разочарование, неизменное крушение всего, что человек выстроил в своем мелком умишке. С одной стороны, ему пришлось признать, что, расширив подвластную ему территорию, он стал шире смотреть на вещи, и за кругом постигнутых истин ему вновь открылась бездна неведения, по-прежнему бездонная и по-прежнему будоражащая ум. С другой стороны, опыт показал ему, что политические законы слишком мало могут дать для его свободы, ограниченной законами природы. Кем бы он ни был — подданным тирана или гражданином республики, — как до, так и после декларации своих прав, он по-прежнему оставался жалким рабом, поработанным собственными страстями, ограниченным во всех своих желаниях материальными трудностями. Он смог убедиться, что самая прекрасная хартия не в силах стереть складку страдания со лба несчастного и дать кусок хлеба голодному. Его чрезмерное самомнение рассеялось, как дым. Он снова пал жертвой неуверенности и зависимости, ставших отныне его уделом. Ра-

зумеется, он был теперь лучше вооружен и более образован, но какое это имело значение? Природа словно высчитала строгое равновесие между нашими достижениями и нашими нуждами, которые увеличивались по мере того, как появлялись новые средства для их удовлетворения. Это великое разочарование возродило старые инстинкты; человек стал искать над собой высшую силу, к которой можно было бы обратиться в молитву; увы, такой силы больше не было.

Все способствовало тому, чтобы разрыв с традициями прошлого стал непоправимым: как гордыня убежденного в своем всемогуществе разума, так и мрачное сопротивление ортодоксальности. Никогда еще гордыня не разрасталась столь непомерно, как в эпоху, когда мы сами заявили о своей ничтожности и слабости по отношению к огромной вселенной. Обычное дело: в самых жалких чуланах часто можно обнаружить тщеславие какого-нибудь Навуходносора или Нерона. В силу весьма поучительного противоречия приверженность к прямому смыслу возросла вместе с всеобщим сомнением, поколебавшим устоявшиеся взгляды. Мудрецы решили, что новые объяснения мироустройства противоречат объяснениям религиозным, но гордыня отказывалась от пересмотра дела.

Защитники ортодоксального взгляда тоже никоим образом не способствовали примирению. Они все еще не понимали, что их учение — источник всяческого прогресса и что, упорно сражаясь с научными открытиями и переменами политического порядка, они не давали этому источнику изливаться естественным путем. Ортодоксы редко замечают всю силу и гибкость принципа, верность которому они хранят. Заботясь о неприкосновенности вверенных им ценностей, они пугаются, когда этот принцип сам по себе начинает воздействовать на мир, преобразуя его по неведомому им плану. Это напоминает поведение человека, внезапно увидевшего, как столб, на котором зиждется его жилище, — ствол дуба, еще полный сока, — вдруг покрывается почками, тянет к небу молодые ветви и устремляется ввысь, сквозь крышу, обрушивая строение. Самый явный признак истинности того или иного учения — его способность применяться ко всем переменам в ходе развития человечества, оставаясь при этом самим собой; разве что зародыш этих перемен в нем уже и заложен. Эта способность лежит в основе ни с чем не сравнимой мощи религий; когда же ортодоксия отказывается признать это, она ставит под сомнение самое свое право на существование.

Вследствие этого недоразумения, в котором каждый несет свою долю ответственности, долго оставалась незамеченной следующая простая истина: в течение восемнадцати веков мир был подвержен воздействию некоего фермента — Евангелия, — и последняя революция, вышедшая из этого Евангелия, стала его триумфом и

окончательным пришествием. Все, что свергалось в ходе этой революции, было подточено ранее скрытыми свойствами этого фермента. Боссюэ, один из немногих, кто все это предчувствовал, писал: «Иисус Христос пришел в мир, чтобы свергнуть то, что воздвигла в нем гордыня; отсюда и происходит тот факт, что его политика прямо противоположна политике нашего века»<sup>15</sup>. Величайшее усилие нашего времени было предсказано и предопределено этими словами: «*Misereor super turbam*»<sup>16</sup>. Эта капля жалости, упавшая посреди жестокости старого мира, незаметно смягчила нашу кровь, она сотворила современного человека — с его нравственными и социальными представлениями, его эстетикой, политикой, склонностью ума и сердца к маленьким вещам, маленьким людям. Однако это постоянное воздействие Евангелия, неукоснительно признающее за прошлым, в наше время отрицается. Человек уподобляется путнику, отправляющемуся вечером в восточном направлении: мрак сгущается перед его глазами, лишь позади него остается немного света, освещающего уже прошедший путь, где угасает день. Впрочем, очевидное противоречие было слишком разительно: с одной стороны — узкое, ограниченное толкование Евангелия, в так сказать иудейском духе; с другой — революция, направленная, казалось, против него, в то время как на самом деле она являла собой естественное развитие христианского сознания. За исключением нескольких беспристрастных умов, вроде Балланша, нашим современникам понадобилось немало времени, чтобы уловить эту причинно-следственную связь. Сегодня эти истины, как говорится, витают в воздухе; их очевидность такова, что я боюсь, как бы меня не обвинили в наивности, продолжай я и дальше рассуждать о них.

Однако рассуждения эти были необходимы для определения того нравственного духа, только благодаря которому можно простить реализму суровость его методов. Изучая жизнь со строгой точностью, распутывая мельчайшие корни наших поступков и исследуя ради этого причины их породившие, он отвечает одной из наших потребностей; но он обманывает наш самый главный инстинкт, намеренно игнорируя тайну, существующую за пределами доводов разума, — возможное присутствие в ней божественного начала. Пусть, пусть он не говорит ничего об этом неведомом мире, но он должен, по крайней мере, трепетать, стоя на его пороге. Раз уж он ставит себе в заслугу беспристрастное наблюдение жизни, он должен признать этот очевидный факт — медленное брожение евангельского духа, его воздействие на современный мир. Религиозное чувство необходимо ему больше, чем любой другой художественной форме; это чувство даст ему милосердие, в котором он

<sup>15</sup> «Проповедь» 1659 года о великом достоинстве бедных.

<sup>16</sup> «Жаль Мне народа» (Мк. 8, 2).

так нуждается; коль скоро он не отступает перед уродством и несчастьями, то должен постоянным изливанием сострадания делать их терпимыми. Лишенный милосердия реализм делается ужасен. А дух сострадания в литературе — мы сейчас увидим это, — едва отдалившись от своего единственного источника, немедленно начинает спотыкаться и фальшивить.

О, я прекрасно понимаю, что, ставя перед писательским искусством нравственную цель, я вызову улыбку у сторонников весьма почитаемой доктрины: искусство для искусства. Признаюсь сразу, что я ее не понимаю — по крайней мере в том смысле, который ей придают сегодня. Конечно, нравственность и красота — в искусстве синонимы; и песнь Вергилия сто́ит главы Тацита. Однако не следует путать возвышенную красоту, порожденную художником в момент духовного озарения, с ловкостью рук искусного фокусника. Мои уточнения направлены именно на эту путаницу. Я никогда не поверю, что серьезные люди, заботящиеся о своем достоинстве и уважении к себе со стороны окружающих, захотят свести свою деятельность к роли каких-то гимнастов, ярмарочных фигляров.

Эти утонченные художники — большие оригиналы. Они исповедуют великолепное презрение к обычным авторам, обеспокоенным желанием просвещать или утешать людей, сами же ходят колесом перед толпой с единственной целью — вызвать своей ловкостью ее восхищение и похваляются тем, что им нечего сказать людям, вместо того чтобы просить у них за это прощения. Как примирить этот отказ с высоким служением, к которому так усиленно призывают литераторы нашего времени? Вероятно, каждый из нас подчас уступает искушению писать ради собственного развлечения: пусть тот, кто без греха, первым бросит камень! Однако просто немыслимо возводить в ранг учения то, что должно быть исключением, минутным отдыхом во время исполнения поэтом его человеческого долга. Если это и есть литература, то я попрошу, чтобы тому, другому присвоили иное имя, менее привлекательное для незаконного присвоения; ибо кроме использования перьев и чернил — которыми пользуются для своих нужд и стряпчие, — у нашего благородного ремесла нет ничего общего с этими делишками. Конечно, и это дело может делаться честно и благопристойно, но оно так же походит на литературу, как лавка игрушечника — на библиотеку. Я не имею намерения принижать значение того или иного жанра, относящегося к разряду легких: роман, комедия могут принести людям больше пользы, чем трактат о теодицее. Я восстаю единственно против упорного нежелания вкладывать в эти произведения какой бы то ни было нравственный смысл. К счастью, те, кто защищает эту ересь, первыми ее и предают, если у них достает на это мужества и таланта.

Чтобы представить вкратце наши мысли относительно того, чем должен был бы быть реализм, мне хотелось бы подыскать формулировку, способную определить одновременно и его метод, и его творческий потенциал. Единственная, которую я нашел, далеко не нова; но я не знаю ничего лучшего, ничего более научного, ничего, что точнее определяло бы тайну любого творения: «Создал Господь Бог человека из праха земного»<sup>17</sup>. Посмотрите, как верно это выражение — «прах земной», сколько в нем смысла! Ничего не предвещающая и ничему не противоречащая, она заключает в себе все знание о происхождении жизни, знание, о котором мы лишь догадываемся. Оно показывает этот первый трепет влажной материи, в которой постепенно формировались и усовершенствовались первые организмы. Сотворение из праха — это всё, что способна познать экспериментальная наука, это поле деятельности, на котором ее возможности поистине безграничны. Тут можно вдоволь изучать ничтожество двуногого животного — человека, всё, что только есть в нем грубого, гибельного, гнилого. Да, но ведь есть и еще что-то, кроме экспериментальной науки. «Праха земного» недостаточно для свершения тайны бытия, он — не единственное, из чего состоит наше «я»: этот комок грязи, которым мы являемся, который становится и будет становиться все более и более понятным нам, — мы чувствуем, что он одухотворен иным началом, непостижимым для наших инструментов познания. Эта формулировка нуждается в дополнении, поясняющем двойственность нашего существа, а потому текст добавляет: «...и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою»<sup>18</sup>. Это «дыхание», почерпнутое из источника вечной жизни, и есть дух, непостижимая и неотделимая от нас стихия, которая движет нами, окутывает нас, опровергает все наши объяснения, и без которой все они и всегда будут недостаточными. Прах земной — вот круг позитивных знаний, вот, что остается в лаборатории от мироздания, в клинике — от человека. Можно зайти очень далеко в его исследовании, но пока в дело не вступит «дыхание», не будет и живой души, ибо истинная жизнь начинается там, где кончается понимание.

Этому образу и должен следовать творец литературы. Как же это удалось реализму в тех странах, где он ставит свои опыты?

## II

Рассмотрим его сначала в нашей стране. Нигде в другом месте почва для этого не была менее благодатной. Наша интеллектуальная традиция вопиет против присущей реализму эстетики. Наш

---

<sup>17</sup> Быт. 2, 7.

<sup>18</sup> Там же.

нетерпеливый гений, склонный к быстрым, ярким эффектам, не приемлет его медлительности. Искусство, претендующее на подражание природе, для достижения необычных и сильных эффектов нуждается, как и она, в долгих приготовлениях. Для создания какого-либо образа или картины, оно методично собирает мельчайшие детали, мы же хотим, чтобы персонаж или сцена были обрисованы в несколько штрихов. Вся сила реализма кроется в его простодушии, наивности; но нет ничего менее простодушного и наивного, чем вкусы постаревшей нации, остроумной, искушенной в красноречии. Таким образом, позаимствовав у естественных наук их методы тщательного анализа, наши писатели-реалисты, натуралисты — название не имеет значения, — столкнулись с ужасающей проблемой: заставить наши литературные способности выступить в новом, не свойственном им амплуа. И все же эти трудности формального плана не могут в достаточной мере объяснить того сопротивления, которое эти писатели встречают у большей части публики. Их упрекают главным образом в том, что, создавая картину мира, они принижают его, опошляют, изображают печальнее, чем он есть на самом деле; мы недовольны тем, что они не принимают во внимание половину нашего «я», причем лучшую его половину.

Так что же: их беспомощность неотделима от их принципов? Никто не осмелился бы утверждать это. Задолго до наших споров уже признавалось, что величие мироздания можно усмотреть и в бесконечно малом, так же как и в бесконечно большом; можно восхищаться клещом, не менее удивительным, чем какой-нибудь колосс, можно находить «необъятность природы в рамке... атомистического ракурса»<sup>19</sup>. Порочность новой школы заключается вовсе не в том, что она рассматривает бесконечность «снизу», интересуется малыми вещами и маленькими людьми; нет, она кроется не в объекте изучения, а во взгляде, который этот объект изучает.

Известно, что реалистическая школа ведет свой род от Стендаля. И это скорее случайность, чем доказанная преемственность. Детей не всегда задумывают заранее. Автор «Пармской обители» и не думал становиться родоначальником литературной школы; и я не знаю, одобрил ли бы этот брызга семейство, образовавшееся после его смерти. Он выступает здесь в роли предка, которого обнаруживают, когда начинают заниматься собственной генеалогией. По некоторым признакам Стендаль — писатель XVIII века, в чем-то отстающий от своих современников и одновременно их опережающий. Если ему доведется встретиться в мире теней с Дидро и Флобером, то он, несомненно, не раздумывая протянет руку первому. То, что художественные приемы новой школы присутствуют в зародыше и в описании битвы при Ватерлоо, и в харак-

<sup>19</sup> Паскаль Блез. Мысли. I, 1.

тере Жюльена Сореля — этот факт очевиден; но стоит нам только признать Стендаля настоящим реалистом, как мы останавливаемся перед непреодолимым противоречием; он обладает безграничным остроумием, прекрасным чувством юмора; мы то и дело сталкиваемся с какими-нибудь ядовитыми комментариями, насмешками в духе Вольтера. А ведь между этой особенностью ума и реализмом существует явная несовместимость; в ней-то и заключается наибольшая трудность, встающая между нами, французами, и новой художественной формой. В Бейле нет бесстрастности — одной из догм новой школы, — одна лишь отвратительная сухость. Его сердце было сработано в эпоху Директории из дерева, того самого, из которого выстругано сердце какого-нибудь Барраса или Талейрана; его понимание жизни и мироустройства вышло из того времени. Мне думается, что все содержимое своей души он влил в душу Жюльена Сореля: это очень злая душа, намного ниже среднего уровня. Я понимаю и разделяю удовольствие, которое получает сегодня читатель, перечитывая «Пармскую обитель»; я восхищаюсь тонкостью наблюдений, язвительностью сатиры, непринужденной и шутиливой манерой: но эти ли достоинства в чести у нынешнего реализма? Мне гораздо труднее наслаждаться «Красным и черным», книгой, исполненной ненависти и печали; она оказала губительное влияние на развитие школы, которая ее востребовала; и, тем не менее, она не относится к числу великих человеческих истин, потому что это упорство в преследовании зла отдает исключительностью и искусственностью, как и изобретение романтиками сатанических героев. В самом деле, почему Бейль, а не Мериме? О последнем осторожно молчат; у реализма, должно быть, имеются одинаковые причины, чтобы принимать или отвергать и того, и другого.

Если отцовство Стендаля вызывает сомнения, то причастность к этому делу Бальзака — вполне признанный факт. Однако, при общем согласии, хотелось бы определенных оговорок. Я не собираюсь судить о нашем великом романисте в нескольких словах; я лишь хочу определить его долю в происхождении реализма. Она значительна, если принимать в расчет лишь его работоспособность; создание грандиозных полотен, где все составляющие органично связаны друг с другом, обусловленные наследственностью темпераменты, описание различных социальных кругов и демонстрация их влияния на характеры: все эти средства Бальзак оставил своим последователям. Но употребили ли они их в том же духе, что и он? Этот неутомимый исследователь реальной действительности и по сей день остается самым ярким идеалистом нашего века, ясновидящим, прожившим всю свою жизнь в иллюзии — иллюзии миллионов, абсолютной власти, чистой любви и многого другого. Герои «Человеческой комедии» выступают иногда лишь истолкователя-

ми мысли их создателя, задача которых — доносить до нас то, что мучит его воображение. Согласно законам классического искусства его первостепенные персонажи одержимы какой-либо одной страстью; возьмем Нусингена, Бальтазара Класа, Беатрис, госпожу де Морсоф... Чтобы уловить фундаментальное отличие Бальзака от пришедших за ним реалистов, следует обратиться к исходной концепции его характеров. Как и подобает автору-классику, наш романист говорит себе: «Вот — страсть, какой же нужен человек, чтобы ее воплотить?» Те же рассуждают в совершенно обратном порядке: «Вот — человек, какие же страсти в нем преобладают?» Потому-то портреты и получаются у них точными и печальными, как описание примет в полицейском участке, в то время как Растиньяк или де Марсе преображаются в лучах внутреннего видения художника.

Конечно, Бальзак дает нам иллюзию жизни, но жизни, гораздо более сложной и пылкой, чем повседневное существование. Его герои естественны — той естественностью, которую демонстрируют на сцене хорошие актеры. Когда они действуют или говорят, они знают, что на них в этот момент смотрят, их слушают. Они не живут для себя, как те, которых мы встречаем у других романистов. Едва поднявшись на социальные вершины, персонажи утрачивают часть своей правдивости. Госпожа де Мофриньез и герцогиня де Ланже достоверны как женщины, но менее убедительны как образчики общества, к которому они принадлежат. Короче говоря, было бы не совсем верно утверждать, что Бальзак описывает реальную жизнь: он описывает свою мечту; но мечта эта представлена с такими тончайшими деталями, с такой отчетливостью воспоминаний, что кажется нам реальностью. И это объясняет одну странность, на которую часто обращают внимание: живопись писателя кажется более достоверной последующему поколению, чем тому, которое ему позировало. Настолько его читатели соотносили себя с предлагавшимися им идеальными типами!

Мы добрались наконец до неоспоримого зачинателя реализма в том виде, в котором он царит в наши дни, — Гюстава Флобера. Нам не понадобится искать дальше. После него будут измышлять новые имена, будут мудрить с методом, но ничего не изменится ни в приемах мастера из Руана, ни в его воззрении на жизнь. Если господин Золя и предстал пред нами со всей своей неоспоримой мощью, то это — не в обиду ему будь сказано — лишь благодаря эпическим достоинствам своих творений, от которых ему никуда не деться. Реалистическая составляющая его романов — вторична; он покоряет нас испытанными романтическими средствами, создавая синтетический образ монстра, наделенного потрясающими инстинктами, чудовища, которое поглощает людей и живет собственной жизнью как бы над реальной действительностью. Таковы сад в «Проступке

аббата Муре», рынок в «Чреве Парижа», кабачок в «Западне», шахта в «Жерминале» и пр. Я чуть не добавил: собор в «Соборе Парижской Богоматери» — настолько идеализация образов у Золя напоминает Виктора Гюго. Реалистический антураж будто бы даже стесняет эпического поэта, являясь некой уступкой вкусам эпохи, которая должна быть противна его абстрактному воображению.

Остановимся на Флобере. За последние годы он очень вырос в общественном мнении; этой посмертной славой он обязан не столько своему чудесному дару прозаика, сколько тому общепризнанному и явному влиянию, которое он оказал на всю литературу последнего двадцатипятилетия. Не думаю, что встречу много противников, если скажу, что его творчество можно принять за выдающийся образец французского реализма. Автор «Госпожи Бовари» быстро добрался до самых крайних проявлений пресловутого принципа; никто другой не продемонстрировал бы нам лучше его убожества.

О, сколь плодотворно изучение этой искренней души! Словно в зеркале, видим мы в ней образ самого мира: он отражается сначала во всем блеске, затем все более искажается, загрубевает, мельчает, сжимается в размерах, чернеет — и вот это уже карикатура. В самом начале он — пламенный романтик, влюбленный во все великое и звучное. Но вскоре его поражает разница между жизнью, — какой он сам видит ее, — и тем, как живописуют ее мэтры романтизма; он наблюдает ее вокруг себя и воспроизводит свое непосредственное впечатление. И вот уже нет и в помине ни стэндалевского остроумия, ни бальзаковской мечты. И по мере того как видение его делается более точным, оно становится более ограниченным и более грустным, лишенным какой бы то ни было нравственной опоры.

Его нормандский здравый смысл позволил ему понять ничтожность жалких идолов, в которые так или иначе верила литература: обожествленная страсть, оправдание мошенников, либерализм Беранже, филантропическая основа революции 1848 года. Он понял насколько фальшиво человеколюбие его предшественников; человеколюбие, подбитое ненавистью, — чистая игра антитез, возвышавшая тех, кто был ничем, чтобы превратить их в военную машину против общества. Этот гуманизм вполне справедливо раздражает Флобера. Согласно предлагаемой ему теории, народ следует жалеть, но в то же время следует считать его наделенным исключительной мудростью и добродетелью; реалист, непредвзято взвешивающий на людей, отлично знает, что это все это сказки; он отвергает теорию всю целиком. А поскольку о существовании более высокого источника милосердия ему ничего не известно, он отбрасывает всякую жалость и видит вокруг лишь глупых или злобных животных, на которых он ставит свои опыты, — мир Бовари и Оме.

Его учили, что разум — непогрешимый инструмент, который он не должен подчинять ничему; однако он замечает, как инструмент этот на каждом шагу дает сбой; и, рассердившись, начинает с его помощью вскрывать смешные стороны жизни. В нем рождается ужасающее презрение к людям и к человеческому разуму, и все это презрение он изливает в своей любимой книге, гротескной «Илиаде» нигилизма — «Бувар и Пекюше».

Ессе homo<sup>20</sup>! Бувар — вот истинное порождение прогресса, науки, бессмертных принципов, лишенное высшей благодати, его направляющей: образованный идиот, который крутится в мире идей, как белка в колесе. Несчастный Флобер набрасывается на этого идиота, забывая, что нравственная увечность достойна такого же сострадания, как и увечность физическая; вне всякого сомнения, он остановил бы жестокого ребенка, оскорбляющего безногого калеку или горбуна, но сам ведет себя точно так, как этот ребенок по отношению к умственному калеке. И это логично: он не знает (или не хочет знать) слов, призывавших уважать нищих духом и обещавших им счастье.

«Бувар и Пекюше» это — последнее слово, естественное завершение реализма — без веры, без чувств, без милосердия. Как справедливо заметил один критик, такой реализм обречен закончить карикатурой, и в некотором смысле истинным отцом его можно считать Поль де Кока. Флобер говорил о своей книге: «Я хочу создать такое впечатление скуки и тоски, чтобы при чтении этой книги можно было подумать, что она написана кретином». Ну что сказать об этой писательской амбиции наоборот? Не достаточно ли сама она говорит о далеко зашедшем упадке? Однако не будем обманываться: по мысли автора эта книга — не фарс, а синтез его философии — философии нигилизма. И я настаиваю на этом, будучи убежден, что влияние, оказанное им на наше литературное поколение, гораздо больше, чем можно было бы предположить; из всех сочинений этого писателя именно оно сегодня наиболее востребовано. Вскоре мы займемся изучением нигилизма у русских; но мы не найдем у них этой нравственной болезни в столь острой, неизлечимой форме. Флобер и его последователи оставили в душах читателей абсолютный вакуум; и в этой опустошенной душе есть лишь одно чувство — неизбежный продукт нигилизма: пессимизм.

В последнее время о пессимизме рассуждают до изнеможения. Люди, обладающие хорошим пищеварением и отсутствием привычки много думать, объявили его наказуемым; примерно так же в стране с нездоровым климатом могли бы рассуждать о лихорадке те, кто ею не страдает. С простодушием врача, говорящего ипохондрику: «Старайтесь сосредоточиться на радостных мыслях», нам великодушно посоветовали веселиться. Однако кое-кому из

<sup>20</sup> «Се человек» (Ин. 19, 5).

докторов, дававших подобный совет, следовало бы задуматься, не они ли помогли распространению скептического материализма; ведь это из него, подобно червю из гнилого плода, и вылез пессимизм. Следует признать косвенную действенность представленных доводов; они настолько веселы по своей природе, что должны были бы излечить нашу черную меланхолию целебными свойствами смеха. Я где-то читал, что надо обладать поистине злой волей, чтобы оставаться пессимистом после 1789 года, после великих начинаний, после пятнадцати лет республики; нас пристыдили за наше уныние, приводя в пример гг. Тьера и Гамбетту, которые уж никак не были пессимистами. Вот прекрасное утешение для вечно мятущейся души! Другие подходили к вопросу шире, сводя его к вечным проблемам зла, страдания и смерти — греха, как сказал даже кто-то, но все удивились, и никто не понял, что же такого нового и глубокого заложено в научном употреблении этого слова.

Что касается меня, я думаю, что для объяснения остроты нынешнего кризиса достаточно будет, не обращаясь к старым, как мир, общим причинам, сказать, что пессимизм есть естественный паразит, обитающий в пустоте, и что он неизбежно поселяется там, где нет больше ни веры, ни любви. Когда мы оказываемся в таком положении, мы выдумываем его сами собой, и для этого не надо читать Шопенгауэра. Надо лишь различать две его разновидности. Одна — это материалистический пессимизм, который нуждается лишь в ежедневной жвачке удовольствия и находит для себя величайшее наслаждение в презрении к людям. Мы видим, как он распускается пышным цветом в нашей литературе. Другая — пессимизм страдающий, бунтующий, и в нем, несмотря на печать проклятия, кроется надежда; последняя стадия нигилизма, он в тоже время являет собой и первый симптом нравственного возрождения. О нем совершенно справедливо говорилось как об орудии всяческого прогресса, ибо мир никогда не преображается и не улучшается теми, кто им полностью удовлетворен.

В заключение скажу, что наша реалистическая литература, которой недостает божественности и человечности, предоставила нам выбирать лишь между этими двумя формами пессимизма. Порожденная Стендалем, раз уж на этом настаивают, продолженная Флобером, вульгаризированная в том же духе его последователями, она не справилась с главной своей задачей: утешать обездоленных и сблизать нас с ними, побуждая нас лучше их узнать. С литературной точки зрения она заплатила за свои нравственные ошибки, представив нам лишь частичную, искаженную картину мира, без атмосферы, без дальних перспектив. Из завета творчества она усвоила лишь первую часть: она замесила «прах земной», изучила его со всей присущей ей пытливостью, извлекла из него все, что в

нем содержалось; но она забыла «вдунуть» в него дыхание жизни, чтобы он стал «душою живою». Эта литература возомнила, что все это можно подменить эгоистическим эстетством; это заблуждение привело к тому, что она превратилась в некий мандаринат, отгородилась от жизни, служить которой была призвана. Она иссыхает и гибнет, словно веточка вербены в треснутой вазе, из которой вытекла вся живительная влага.

И люди отдаляются от нее, ищут чего-то другого; для любого непредвзятого наблюдателя это обратное движение очень и очень заметно. Последние лет двадцать пять или тридцать, уставшие от ребяческих измышлений и изголодавшиеся по правде новые поколения настойчиво требовали возвращения к добросовестному изучению жизни и простому ее изображению. Но при всем разнообразии вкусов, сущность человеческой природы остается неизменной: она по-прежнему нуждается в сочувствии и надежде; нас можно взять только благодаря этим благородным слабостям; нас можно поймать, лишь оторвав от земли. Тому же, кто принижает нас и калечит наши чаяния, несомненно, удастся позабавить нас какое-то время; но надолго он нас не удержит. Сегодня эти истины, столь же долговременные, как и сам человек, забылись, потому что мы живем в переходный период и ни в чем не имеем уверенности. Души не принадлежат никому, они кружат в поисках вожакого, подобно ласточкам, что проносятся в грозу над лужами — обезумев от холода, мрака и грохота. Попробуйте сказать им, что есть такое прибежище, где подбирают и обогревают израненных птиц; вы увидите, как все эти души соберутся вместе, поднимутся ввысь и устремятся что есть сил прочь, оставив далеко позади ваши бесплодные пустыни, к писателю, призвавшему их криком своего сердца.

## II

В то время как реализм мучительно внедрялся во Франции, он успел уже завоевать литературу двух великих держав: Англии и России. Там для него была подготовлена почва, и все способствовало его произрастанию. Мы и наши соплеменники унаследовали от наших латинских учителей умение мыслить абсолютными категориями; народы же Севера, славяне и англо-германцы имеют склонность к относительному; идет ли речь о религиозных верованиях, о правовых принципах или литературных методах, это глубинное различие в семье европейских народов дает о себе знать на протяжении всей их истории. В противоположность нашему разуму, четкому и ясному, склонному к ограничению поля своих исследований, разум этих народов представляется широким и смутным, потому что он видит одновременно много вещей. Он не обладает нашим

классическим образованием, позволяющим нам выделять тот или иной факт, характер, а внутри этого характера — страсть, заменять множеством условностей все, что невозможно увидеть; он считает, что изображение мира должно быть столь же сложным и противоречивым, каковым является и сам мир; он искренне страдает, когда от него утаивают какую-либо часть этого целого, где все пребывает в теснейшей взаимосвязанности. Взгляните, сколь разным требованиям отвечают драматические произведения; у нас — одна центральная фигура, несколько второстепенных персонажей, строго ограниченное действие («Сид», «Федра», «Заира»); у английских или немецких трагиков — шумная толпа, несущаяся сквозь цепь событий, и, если можно так выразиться, кусок жизни, отделенный от целого простейшим способом, без причинения ему какого-либо ущерба («Генрих VI», «Ричард III», «Валленштейн»). То же касается и романических сочинений; терпеливых читателей этих стран вовсе не пугают пухлые романы — философские, начиненные идеями, — заставляющие их ум работать не меньше, чем чисто научная книга.

Тем не менее, капитальное отличие нашего реализма от реализма северян следует искать в другом месте; и найдем мы его скорее в нравственном источнике вдохновения, чем в расхождении эстетического порядка. В этом все критики единодушны.

Сравнивая Стендаля и Бальзака с Диккенсом, г-н Тэн говорит: «Они любят искусство больше, чем людей... и пишут они не из сочувствия к отверженным, а из любви к прекрасному»<sup>21</sup>. В этом — всё, и различие это становится еще очевиднее, когда сравниваешь наших современных реалистов с последователями Диккенса или русскими реалистами. Г-н Монтегю в своих этюдах о творчестве Джордж Элиот проник еще глубже; он подвел итог предыдущим исследованиям одной фразой, под которой я всецело подписываюсь: «Я относил к этому религиозному источнику нравственный дух, который всегда отличал английский роман в его самых вызывающих или самых циничных образцах, и утверждал, что реализм, вполне приемлемый при условии его обогащения этим элементом, не мог в противном случае породить ничего, кроме произведений слабых, незрелых и безнравственных; и своего мнения по этому поводу я не изменил»<sup>22</sup>. В свою очередь, г-н Брюнетьер говорит по поводу той же Элиот: «Если правда то, — и, как мне думается, я только что доказал это, — что взгляд наших натуралистов, в некотором роде враждебный, ироничный, по крайней мере насмешливый, никогда не проникает глубже внешней оболочки описываемых вещей, в то время как нет такого тайника человеческой души, в который не проник бы английский натурализм, то не стоит тратить времени

<sup>21</sup> *Littérature anglaise*. Dickens.

<sup>22</sup> *George Eliot (Revue des Deux Mondes, 1<sup>er</sup> mars 1883)*.

и сил на поиски причин этого явления — они здесь. Действительно, сочувствие — не то банальное сочувствие, которое заставляет богача из эпиграммы проливать слезы над бедным Олоферном, а сочувствие ума, просвещенное любовью, которое мягко снисходит и скромно старается примениться к тем, кого он желает понять, — таково есть, было и будет орудие психологического анализа»<sup>23</sup>.

Я решил привести здесь эти мнения, поскольку они с одинаковой точностью могут быть отнесены к русскому реализму, как и к английскому.

О последнем я не буду слишком распространяться. Гг. Тэн, Монтегю, Шерер, среди прочих, исчерпали эту тему во Франции. Англии по-прежнему принадлежит честь открытия и доведения до высочайшего совершенства художественной формы, отвечающей новым духовным потребностям всей Европы. Реализм, ведущий свое начало от Ричардсона, познал свои наиболее славные времена с Диккенсом, Теккереем и Джордж Элиот. В то самое время, когда у нас Флобер вовлекал это учение в пучину интеллектуального краха, Элиот придавала ему непревзойденные ясность и величие. При всей моей любви к Тургеневу и Толстому, я, может быть, даже предпочту им эту волшебницу — Мери Эванс; если через сто лет романы прошлого будут еще читаться, мне думается, восторги наших потомков будут так же колебаться между этими тремя именами.

По-видимому, следует признать определенную медлительность англичан; как и сама жизнь, реализм требует от нас терпения за то удовольствие, которое он нам дает; подгоняя его, мы рискуем расшатать все его составляющие. Надо смириться с тем, что истории воспитания двух детей посвящается целый том, как в «Мельнице на Флоссе», и тогда нам откроется восхитительная душа малышки Мэгги. Когда читаешь эти чистые произведения, где пройденное расстояние не поддается никаким измерениям, кажется, будто ты незаметно погружаешься в глубокую воду; в воде этой нет ничего особенного, она походит на все воды мира; но внезапно, не знаю каким чувством, ты понимаешь, что это воды океана и они уже поглотили тебя. Возьмите «Адама Бида» или «Сайлеса Марнера»; читаем страницу за страницей, множество страниц, где простыми словами описываются еще более простые вещи; вы бы сами могли их написать, и я тоже. «Зачем мне все это, зачем все эти люди?» — спрашиваем мы себя. И вдруг, без всякой видимой причины, без какого-либо трагического события, лишь под влиянием этого величия, накапливавшегося в течение какого-то времени, мы роняем на страницу слезу. Почему? Ручаюсь, этого не сказал бы и самый проныцательный из нас. Потому что это так прекрасно, словно сказано самим Господом Богом, — вот и всё.

<sup>23</sup> *Le Roman naturaliste, le Naturalisme anglais.*

Это прекрасно, как Библия. Приход Дины к Лисбет и двадцать других эпизодов кажутся описанными той же рукой, что написала «Книгу Руфь». Тут сразу чувствуешь, сколь глубоко проникнута Англия своей Библией — до мозга костей. А у Джордж Элиот — еще и влияние породы, окружения, воспитания. Ее мнения очень далеки от конформизма, это известно; сама она отказалась от старой веры; но это не важно, она у нее в крови, «эта первичная религиозная монада, которую вложил в английские души протестантизм и на счет которой следует отнести превосходство английского романа над нашим»<sup>24</sup>. Тот же феномен находим мы и у русских авторов; оторвавшись от христианской догмы, они сохраняют эту закалку, как церковные колокола, которые всегда звонят о божественном, даже если их используют в мирских целях. Сиюминутные взгляды писателя подчас очень мало значат для его творчества, главное для него то, чего не хватает нашим, — неосознанная длительная подготовка к творчеству в чистой, неиспорченной среде, религиозность души. На каких бы верованиях ни остановила свой выбор Мери Эванс, она всегда сможет отнести к себе слова методистки Дины Моррис, в которых сконцентрирована самая суть ее идеи: «Мне кажется, в моей душе совсем нет места для беспокойства о самой себе, настолько Богу было угодно переполнить мое сердце сочувствием к страданиям несчастных из Его стада».

Так думают и могли бы говорить многие из этих русских, что оспаривают сейчас у англичан первенство в реалистическом романе. Их выход на большую литературную сцену был внезапен и неожидан. До последних лет изучение письменности этих сарматов было доверено горстке востоковедов. Были подозрения, что и у них, как в Персии или Аравии, могла даже существовать какая-то литература; но в это не очень верилось. Мериме был первым, кто обратил внимание на этот малопосещаемый край, обнаружив там талантливых писателей и самобытные произведения. Посланником русского гения явился к нам Тургенев. Своим примером он продемонстрировал высокие художественные достоинства этого гения; западная публика оставалась настроенной скептически. Наше мнение о России определялось одной из тех простых формул, столь любимых во Франции, которые уничтожают страну как индивидуальность: «Нация, прогнившая до того, как успела созреть», — говорили мы, и это было ответом на все вопросы. Русские не могли на нас за это обижаться: мы увидим, что некоторые из них, из числа самых уважаемых, применяли эту сентенцию против себя самих. Воздержимся от поспешных суждений. Разве мы не знаем, что Мирабо в подобных выражениях высказывался о прусской монархии? В своей «Тайной истории» он писал: «Гниль до созревания, боюсь,

<sup>24</sup> Montégut, *loc.cit.*

как бы это не стало девизом прусского государства». Впоследствии оказалось, что опасения эти были неуместны. Точно так же Жан Жак Руссо, говоря о России в своем «Общественном договоре», не упустил случая высказать следующий парадокс: «Российская империя захочет подчинить себе Европу и сама будет подчинена. Ее и нашими хозяевами станут татары — ее подданные или соседи; этот переверот кажется мне неотвратимым». Лучше информированный благодаря личному опыту Сегюр говорил вернее: «Русские еще остаются тем, что из них делают; в один прекрасный день, обретя свободу, они станут самими собой».

Этот день, который в других отношениях задерживается, настал, по крайней мере, в литературе — раньше, чем Европа соблаговолила это заметить. К 1840 году, школа, назвавшаяся «натуральной» — или натуралистической, поскольку это русское слово может быть переведено и так, и так, — вобрала в себя все литературные силы страны. Посвятив себя роману, она вскоре породила поистине замечательные произведения. Эта школа очень напоминала английскую, многим была обязана Диккенсу и очень немногим Бальзаку, известность которого еще не распространилась вовне; она опережала наш реализм в том виде, в каком его позднее воплотил в жизнь Флобер. Кое-кто из этих русских сразу достиг мрачности мировосприятия и грубости выражения, к которым мы пришли лишь недавно, ценой многих трудов; и если считать это заслугой, то первенство в этом деле следует признать за ними. Но были и другие писатели, сумевшие среди этой чрезмерности проторить дорогу реализму, сообщая ему, подобно англичанам, высокую красоту, восходящую к тому же нравственному источнику вдохновения: состраданию, свободному от какой бы то ни было нечистоты и возвышенному евангельским духом.

Они не обладают интеллектуальной твердостью и мужественностью англосаксов, этой твердокаменной нации, неизменно уверенной в самой себе, которая умеет владеть собой, как она владеет Океаном. Непостоянная душа русских плывет по воле волн сквозь все философские течения и все заблуждения, останавливаясь то на нигилизме, то на пессимизме; поверхностный читатель мог бы подчас спутать Толстого и Флобера. Однако нигилизм этот никогда не принимается безропотно, душа эта никогда не закосневает безнадежно, мы слышим, как она стонет и взыскует, и в конце концов она возвращается на путь истинный и искупает свои ошибки милосердием; более или менее действенное у Тургенева и Толстого, у Достоевского оно становится исступленным, переходя в какую-то болезненную страсть. Их треплет ветром всех учений, приносимых извне — скептических, фаталистических, позитивистских; но сами того не ведая, в самых глубинах своего сердца, они всег-

да остаются теми самыми христианами, о которых некогда один красноречивый голос сказал: «Они не переставали сострадать этому вселенскому плачу, неиссякаемый поток которого питают люди и вещи — данники времени». Читая самые странные их произведения, всегда ощущаешь соседство другой, путеводной книги, к которой тяготеют все остальные; этот внушительный том, хранящийся на почетном месте в петербургской Императорской библиотеке, — новгородское «Остромирово Евангелие» (1056), символизирующее духовные истоки новейших произведений русской литературы.

Другой отличительной чертой этих реалистов, после сочувствия, является понимание оборотной стороны жизни, ее изнанки. Они изучают действительность так пристально, как не делал никто до них, кажется даже, что им неловко в этом замкнутом пространстве; и тем не менее, они размышляют над невидимым; описывая с крайней точностью знакомые всем вещи, они не забывают уделить особое внимание тому, что, как они подозревают, скрывается за ними. Их персонажей волнуют тайны мироздания, и, как бы ни были они вовлечены в драму настоящего момента, они всегда готовы прислушаться к шепоту отвлеченных идей; идеи эти населяют глубокую атмосферу, которой дышат герои, созданные Тургеневым, Толстым, Достоевским. Области, к которым преимущественно обращаются эти писатели, напоминают прибрежные земли: мы любимся красотой их холмов, деревьев и цветов, но над всеми этими видами господствует зыбкий морской горизонт, добавляющий красотам пейзажа ощущение безграничности мира, неизменное свидетельство бесконечности.

Как и источник вдохновения, с англичанами их сближает и литературная практика; интерес и чувства при чтении их книг добываются одной ценой — ценой терпения. Когда мы попадаем на страницы их произведений, нас сбивает с толку отсутствие композиции и явного действия, нас утомляет необходимость постоянного напряжения внимания и памяти. Эти медлительные, вдумчивые умы застывают на каждом шагу, все время возвращаются назад, создают образы точные в деталях, но в целом смутные, с размытыми контурами; на наш вкус, они берут слишком широко и заходят слишком издалека: соотношение русских слов и наших можно сравнить с соотношением метра и фута. Но несмотря ни на что, нас подкупают эти, казалось бы, взаимоисключающие свойства — самая бесхитростная простота и тонкость психологического анализа; нас зачаровывает столь полное понимание внутреннего мира человека, какого мы не встречали никогда прежде, совершенная естественность, достоверность чувств и речи всех действующих лиц. Почти все русские романы написаны людьми благородного происхождения, а потому впервые мы находим в них привычки и манеры вели-

косветских кругов, описанные без малейшей фальши; но и покинув Двор, эти безупречные наблюдатели с такой же точностью передают говор простого крестьянина, ни разу не исказив его нехитрую мысль. Благодаря одним только естественности и эмоциональности реалисту Толстому, как и Джордж Элиот, удается превращать самые обыденные истории в неспешную, но при этом захватывающую эпопею; он заставляет нас приветствовать в нем самого великого певца жизни, какого, возможно, не появлялось со времен Гёте.

Я вовсе не хочу углубляться здесь в анализ творчества каждого писателя в отдельности, к чему у меня еще будет не один случай обратиться в этой книге. Излагая его вкратце, я желал бы единственно показать узы, связующие русский реализм с реализмом английским, и то, чем оба они отличаются от нашего; пояснить, как эта, подчас несправедливо хулимая художественная форма смогла породить подлинные шедевры в других местах — там, где ее обратили к истинным источникам энергии, к свету и теплу. Ибо в силу высшего закона, правящего и физическим, и нравственным миром, литература действует как любой очаг; весь свет, все тепло, которое она получает, она преобразует в энергию, и производит ее ровно столько, сколько получает света и тепла. Там, где мы потерпели неудачу, англичане и русские преуспели, потому что приняли завет творения целиком: взяв человека из праха земного, они «вдунули» в него «дыхание жизни» и создали «души живые».

Потому-то их литература и возымела успех, незаметно покорила европейскую публику. Она отвечает всем требованиям, потому что удовлетворяет сущностью своей постоянным нуждам человеческой души, а формой — особому вкусу к реализму, характерному для нашей эпохи, именно такому, каким определила его всеобщая склонность, о которой я говорил в начале.

Это наводит нас на печальные и неизбежные размышления. Благодаря частоте и быстроте всяческих обменов, благодаря постоянному укреплению взаимоотношений в мире мы наблюдаем формирование некоего европейского духа, некоего капитала культур, идей, склонностей, общих для всех мыслящих сообществ, располагающегося над групповыми и национальными предпочтениями.словно фрак — одинаковый повсюду, — этот дух, повсюду схожий и подверженный одним и тем же влияниям, можно обнаружить и в Лондоне, и в Петербурге, и в Риме, и в Берлине. Его можно обнаружить и гораздо дальше — на пароходе, бороздящем Тихий океан, в прерии, возделываемой эмигрантом, в фактории, открытой купцом за тридевять земель.

Этот дух ускользает от нас; его медленно завоевывают литература и философия наших соперников. Этот дух не принадлежит больше нам, мы не сообщаемся с ним больше, мы лишь слепо следуем

за ним, иногда с успехом; но следовать не значит вести за собой. Я знаю, что наша огромная романическая продукция может еще похвалиться успехом на литературных рынках; ее покупают по привычке или следуя моде, ею забавляются какое-то время; однако, за редким исключением, книга, которая действует и питает, которую принимают всерьез, читают всей семьей, которая в конце концов оттачивает умы, — эта книга приходит не из Парижа. Я отмечаю здесь — с горечью в сердце и искренним желанием ошибиться — собственное наблюдение, подводящее итог моим долгим взаимоотношениям с заграницей: преобразующие Европу общие идеи не исходят более из французской души. Столь же злополучная, как и наша политика, лишенная материальной власти над миром, наша литература по своей вине утрачивает власть интеллектуальную, бывшую некогда нашим неоспоримым достоянием.

#### IV

Надеюсь, мне поверят, что, проводя эти параллели, я не испытываю кощунственного удовольствия от умаления достоинств своей страны. Считаю я это временное падение непоправимым, я бы промолчал. Я же говорю открыто, потому что сегодня, более чем когда-либо, убежден в обратном. Мы вообразили, что после великих испытаний национальный дух изменится в мгновение ока и свидетельством этой перемены станет литература. Плохо же мы знаем историю и природу — они действуют с особой медлительностью. Вспомним «Музу» тех лет, что последовали за страшными потрясениями Революции; она продолжала чахнуть, ничем не отличаясь от себя самой накануне драмы. Для нее в мире ничего не изменилось. Шатобриан вышел на сцену через шесть лет после Террора и остается до сих пор единственным исключением; мощное литературное движение, позволившее измерить глубину перемен, потрясших французский разум, заявляет о себе лишь двадцать лет спустя. Это говорит о том, что катастрофы ничему не научают и не изменяют очевидцев, достигших зрелости; на следующий день они оказываются такими же, как и прежде, — со своими духовными пристрастиями, предрассудками, со своей косностью. Они, эти катастрофы, необъяснимым образом воздействуют на юное воображение, на детей, которые, широко раскрыв прекрасные удивленные глаза, где любое явление приобретает большие размеры, склонны их преувеличивать. Эти малыши становятся взрослыми, и мы узнаём в них детей, порожденных бурей.

Так будет и с нашим временем. Пятнадцать лет ворочались мы на старой кровати, в которой нас застигла эта рана; мы жили старыми, изношенными понятиями, литература ничего не меняла в своей

кухне. Спросить ее, так можно подумать, что никто и не желает более здоровой пищи. Это неправда. И это знают те, кто приглядывается к молодым. Не стоит судить о них по нескольким шумным, вычурным фантазиям. Беспокойный дух вершит свою работу над образованной молодежью, ищущей для себя новой точки опоры в мире идей. Она выказывает одинаковое отвращение ко всему, что ей подают. Последние вздохи идеалистического искусства ее совсем не устраивают; оставляя без внимания этот тихий предсмертный шелест, она не желает изящных условностей и легких вымыслов, которые пленяли еще наше поколение. Однако она не менее строптива и по отношению к материалистической литературе, не поднимающейся выше уровня земли. «Не хотим дышать ни мускусом, ни навозом — дайте нам воздуха!» — таков мог бы быть ее девиз. Ее природное благородство выродилось под воздействием эгоистического равнодушия и невыносимой сухости реализма — единственного, что ей предлагают. Грубые отрицания позитивизма больше не удовлетворяют ее. Когда ей говорят о необходимости религиозного обновления в литературе, она слушает с любопытством, без предвзятости и ненависти, ибо, не имея веры, она обладает в высочайшей степени развитым чувством таинственного — и в этом ее отличительная особенность. Ее упрекают в пессимизме, ничего не предлагая для излечения от этого недуга; пессимисты эти суть души, блуждающие вокруг истины.

Их случай не нов, и чтобы угадать, что он предвещает, стоит лишь перечитать книгу, наилучшим образом проливающую свет на начало нашего века, — восхитительные «Мемуары» Сегюра. Помните, как молодой человек описывает уныние, охватившее его и его современников к 1796 году? «Всякая вера была поколеблена, всякий путь — неясен; и чем более горячи были новые души, чем более склонны к раздумьям, тем более заблуждались они без помощи в этой бесконечной смуте, в этой бескрайней пустыне, где ничто не сдерживало их блужданий, где многие из них, слабея и в разочаровании обращаясь на самих себя, видели впереди, сквозь пыль стольких обломков, лишь смерть, казавшуюся им единственным пределом их скитаний!.. Я видел лишь ее — во всем и повсюду... И так душа моя изнашивалась, готовая унести с собой все остальное; я изнемогал...» Разве современный пессимизм скажет иначе? Мы знаем, как в один прекрасный день брюмера будущий генерал стряхнул с себя этот морок, стоя у решетки Поворотного моста, чтобы начать доблестную карьеру солдата и писателя. Наш пессимизм также излечим, дело только за человеком или идеей, которым удастся поднять этих молодых людей. Мы охотно позволяем сломить себя этими роковыми словами: конец века. Это — ловушка. Век всегда начинается для тех, кому двадцать лет. Мы разделили

время на искусственные периоды, мы сравниваем их с течением человеческой жизни; однако природе мало дела до наших исчислений; она без устали выталкивает в мир все новые и новые поколения, доверяя им каждый раз новое сокровище — жизнь, и не сверяя время по нашим часам.

Возможно, кто-то назовет мои прогнозы иллюзиями и будет недоумевать: при чем тут русская литература? Одним из наиболее поразивших меня симптомов была страсть, с которой молодежь набросилась на этот новый плод. Пушкин называет где-то переводчиков «почтовыми лошадьми просвещения». Невозможно лучше описать тяжесть и полезность их служения. Те, кто первыми попытались приобщить французских читателей к русским книгам, не могли предвидеть, что повлечет за собой их начинание. Они сказали себе, что Франции негоже отставать и что нельзя оставлять исключительное право на исследование этого нового явления за Германией, где гг. Рейнгольдт, Цабель и Брандес в течение нескольких лет уже серьезно трудятся над изучением славянских литератур. Они думали лишь пробудить любопытство и дух соперничества в образованных кругах и сами первыми удивились неожиданному успеху этих романов, столь не похожих на наши и столь трудных для понимания. Я же, со своей стороны, и не надеялся на то, что наши вкусы совпадут, и когда публика продемонстрировала свое предпочтение, понял, что видимый застой этих последних пятнадцати лет скрывал множество перемен и открытий, совершившихся в нашем национальном сознании.

Успех русских объясняли уже модой и увлечением. Ах, вот уж поистине поверхностный взгляд на вещи! Согласен, можно говорить и о моде — этот сорняк паразитирует на любом растущем дереве, — и об увлечении, имеющем место в некоторых салонах. Однако своих настоящих читателей русский роман нашел все же среди пытливого молодежи всех сословий. И то, что привлекло ее в нем, — это не местный колорит и не прелесть новизны, а дыхание жизни, наполняющее эти книги, звучащие в них ноты искренности и сострадания. Молодежь нашла в них духовную пищу, которой наша художественная литература им больше не дает, и, изголодавшись, с вожделением набросилась на нее. Мои утверждения не голословны — сколько писем от молодых людей, знакомых и незнакомых, мог бы я привести в их подтверждение!

Вполне возможно, что столь явный интерес будет иметь два нежелательных, хотя и не очень значительных последствия. Мы столкнемся с тем, что переводить станут без разбора всё, что поступает из России, — это уже началось, — то есть горы весьма и весьма слабых произведений; но мы же можем их просто не читать! С другой стороны, меня уверяют, что молодые «декаденты», впечатлен-

ные странностями, которые обезображивают талант Достоевского, примутся подражать этим чрезмерностям в своих химерических писаниях. Так и должно случиться — пусть же натешатся вдоволь. За этими оговорками, я убежден, что влияние русских писателей будет благотворно для нашего истощенного искусства; оно поможет ему вновь набрать высоту, лучше ориентироваться в действительности, смотреть дальше, и главное — вновь обрести утраченное чувство. Мы видим, как нечто подобное проглядывает уже в некоторых романах совершенно нового нравственного качества. Мне трудно понять тех, кто опасается этих заимствований извне и будто бы боится за целостность французского гения. Похоже, они забыли историю всей нашей литературы. Как и все сущее, литература есть организм, нуждающийся в питании; ей необходимо постоянно усваивать посторонние элементы, чтобы преобразовывать их в собственную субстанцию. Когда желудок в порядке, такое усвоение не таит в себе никакой опасности; когда же он изношен, ему остается единственный выбор: совершенно разрушиться от истощения или от несварения. Если таков наш удел, то лишняя порция русской похлебки ничего не изменит в нашем смертном приговоре.

Когда начался Великий век, литература агонизировала среди слащавостей отеля Рамбуэ; Корнель отправился пополнять съестные припасы в Испанию, Мольер то же самое делал в Италии. Мы обладали тогда прекрасным здоровьем и двести лет прожили за счет собственных ресурсов. С приходом девятнадцатого века появились новые нужды, национальная копилка опять иссякла; мы позаимствовали кое-что у Англии, потом у Германии, и наша литература, снявшись с мели, как известно, переживала самое прекрасное возрождение. Но вот для нее снова настали тяжелые времена, снова она голодна и малокровна: тут весьма кстати оказались русские; и если мы еще способны переваривать пищу, то скоро восстановим свою кровь за их счет. Тем же, кого вгоняет в краску сама мысль, что они могут быть чем-то обязаны «варварам», напомним, что интеллектуальный мир — это огромное общество взаимной помощи и поддержки. В Коране есть прекрасная сура: «Как мы узнаем, что настал конец света? — спрашивает Пророк. — Это случится в тот день, когда одна душа не сможет больше ничего сделать для другой». Да будет угодно небу, чтобы русская душа могла еще много сделать для нашей!

Исследуя ее, эту русскую душу, и ее проявление в русской же литературе, я говорил почти все время о нашей французской словесности, и я не приношу за это своих извинений. В те годы, что я провел там, в России, ловя чужую мысль, слушая этот непонятный, музыкальный язык, мягко облекающий новые мысли, я беспрестанно мечтал о том, что и как можно было бы взять от них, что-

бы обогатить нашу мысль, наш старый язык, созданный трудом и достижениями наших предков. Они использовали весь мир, чтобы украсить драгоценностями своего властелина, они знали, что для служения ему — все дозволено, что они могут грабить на большой дороге, вооружать корсаров, разбойничать на море, хватать все, что попадется под руку.

Так давайте же подражать им. Среди просвещенных людей есть такие, кто считает, будто французской мысли совершенно не к чему странствовать по свету, что ей достаточно любоваться на самое себя, глядя в свое парижское зеркало. Другие утверждают, что язык сегодня должен быть безликим, бесстрастным, что над ним следует работать, как работают над мозаиками из твердых, холодных камней, подобными тем, что потомки Рафаэля производят во Флоренции на потребу американцам. Бедный язык! Я думал, что века переплавили его в своем горниле, отлив из него колокол, который будет посылать миру свой мощный перезвон. Сколько смеха, гнева, любви, отчаянья, души было брошено в горнило этими славными тружениками — Рабле, Паскалем, Сен-Симоном, Мирабо, Шатобрианом, Мишле, — дабы сделать его еще прочнее, еще прекраснее! Язык и мысль... Каждая эпоха переплавляет их по-своему; и вот, после дней тяжелых испытаний, когда они оказались покоробленными, эта задача вновь встает перед нами; так давайте же трудиться над ними, чтобы они уподобились коринфскому металлу, который вышел из поражений и пожаров обогащенным всеми сокровищами мира, всеми отечественными святынями, обогащенным ее песнями и бедами; металлу блестящему и звонкому, равно пригодному для выделывания драгоценностей и мечей.

Париж, май 1886.

*Перевод С. Ю. Васильевой под редакцией П. Р. Заборова*